

ВНИМАНИЕ!

В начале записи своего конкурсного прочтения необходимо озвучить имя адресата, дату письма А. С. Пушкина и место написания.

Пример:

Александр Сергеевич Пушкин пишет Александру Александровичу Бестужеву, конец января 1825 года, Михайловское.

Александру Александровичу Бестужеву

Конец января 1825 года, Михайловское

Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова.

В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведенный несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Всё, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подобными.

О стихах я не говорю: половина — должны войти в пословицу.

Покажи это Грибоедову. Может быть, я в ином ошибся. Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался.

Александру Александровичу Бестужеву

Конец мая — начало июня 1825 года, Михайловское

Нет, фразу твою скажем наоборот: литература кой-какая у нас есть, а критики нет.

У одного только народа критика предшествовала литературе — у германцев.

Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает много талантов.

Ободрения у нас нет — и слава богу! отчего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрение сделаны министрами. Век Екатерины — век ободрений; от этого он ещё не ниже другого. Карамзин, кажется, ободрён; Жуковский не может жаловаться, Крылов также. Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг; посмотрим, когда появится его Гомер. Из неободрённых вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава богу! Ободрение может оперить только обыкновенные дарования.

Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы.

Наталье Николаевне Гончаровой

Не позднее 29 октября 1830 года, Болдино

Милостивая государыня Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте. Письмо Ваше от 1-го октября получил я 26-го. Оно огорчило меня по многим причинам: во-первых, потому, что оно шло ровно 25 дней; 2) что вы первого октября были ещё в Москве давно уже зачумлённой; 3) что вы не получили моих писем; 4) что письмо ваше короче было визитной карточки; 5) что вы на меня, видно, сердитесь, между тем как я пренесчастное животное уж без того. Где вы? что вы? я писал в Москву, мне не отвечают. Брат мне не пишет, полагая, что его письма,

по обыкновению, для меня неинтересны. В чумное время дело другое; рад письму проколотому; знаешь, что по крайней мере жив, и то хорошо.

Напишите мне, где вы, а письмо адресуйте в Лукояновский уезд в село Абрамово, для пересылки в Болдино. Скорей дойдет. Простите. Целую ручки у матушки; кланяюсь в пояс сестрицам.

Наталье Николаевне Гончаровой

21 августа 1833 года, Павловское

Ты не угадаешь, мой ангел, откуда я к тебе пишу: из Павловска; между Берновом и Малинников, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, своротя на просёлочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместий, и решился их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, который обрадовался мне, как родному. Здесь я нашёл большую перемену. Назад тому пять лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями; но уланы переведены, а барышни разъехались; из старых моих приятельниц нашёл я одну белую кобылу, на которой и съездил в Малинники; но и та уж подо мною не пляшет, не бесится, а в Малинниках вместо всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш etc. живёт управитель Парасковии Александровны, Рейхман, который попотчевал меня шнапсом. Вельяшева, мною некогда воспетая, живёт здесь в соседстве. Но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу. Здесь объедаюсь я вареньем и проиграл три рубля в двадцать четыре роббера в вист. Ты видишь, что во всех отношениях я здесь безопасен. Много спрашивают меня о тебе; так же ли ты хороша, как сказывают — и какая ты: брюнетка или блондинка, худенькая или плотненькая?

Наталье Николаевне Гончаровой

20 и 22 апреля 1834 года, Петербург

Ангел мой жёнка! сейчас получил я твоё письмо из Бронниц — и сердечно тебя благодарю. С нетерпением буду ждать известия из Торжка. Надеюсь, что твоя усталость дорожная пройдёт благополучно и что ты в Москве будешь здорова, весела и прекрасна. Письмо твоё послал я тётке, а сам к ней не отнёс, потому что репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трёх царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упёк меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвёртого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тёзкой; с моим тёзкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибёт.

Петру Андреевичу Вяземскому

6 февраля 1823 года, Кишинёв

Как тебе не стыдно не прислать своего адреса; я бы давно тебе написал. Благодарю тебя, милый Вяземский! пусть утешит тебя бог за то, что ты меня утешил. Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждение умного человека.

Благодарю за щелчок цензуре, но она и не этого стоит: стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеёмся, а кажется лучше бы дельно приняться за Бируковых; пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосом — презрение к русским писателям нестерпимо; подумай об этом на досуге, да соединимся — дайте нам цензуру строгую, согласен, но не бессмысленную.

У нас всё, елико печатано, имеет действие на святую Русь: зато не должно бы ничем пренебрегать, и должно печатать благонамеренные замечания на всякую статью — политическую, литературную — где только есть немножко смысла. Кому, как не тебе, взять на себя скучную, но полезную должность надзирателя наших писателей. Стихи мои ищут тебя по всей России — я ждал тебя осенью в Одессу и к тебе бы приехал — да мне всё идёт наперекор. Не знаю, нынешний год увижусь ли с тобою. Пиши мне покамест, если по почте, так осторожнее, а по оказии что хочешь — да нельзя ли твоих стихов? мочи нет хочется.

Прощай, моя радость.

Петру Андреевичу Вяземскому

8 марта 1824 года, Одесса

От всего сердца благодарю тебя, милый европеец, за неожиданное послание или посылку. Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше, право, не хуже другого. Одно меня затрудняет, ты продал все издание за 3000 рублей, а сколько ж стоило тебе его напечатать? Ты всё-таки даришь меня, бессовестный! Ради Христа, вычти из остальных денег, что тебе следует, да пришли их сюда. Раста им незачем. А у меня им не залежаться, хоть я, право, не мот. Уплачу старые долги и засяду за новую поэму. Благо я не принадлежу к нашим писателям 18-го века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола.

Жду с нетерпением моего «Фонтана», то есть твоего предисловия. Недавно прочёл я твои давешние замечания на Булгарина, это лучшая из твоих полемических статей. «Жизни Дмитриева» ещё не видал. Но, милый, грех тебе унижать нашего Крылова. Твоё мнение должно быть законом в нашей словесности, а ты по непростительному пристрастию судишь вопреки своей совести и покровительствуешь чёрт знает кому. И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова; все его сатиры — одного из твоих посланий, а всё прочее — первого стихотворения Жуковского.

Николаю Ивановичу Гнедичу

13 мая 1823 года, Кишинёв

Благодарю вас, любезный и почтенный, за то, что вспомнили вы бессарабского пустынного. Он молчит, боясь надоедать тем, которых любит, но очень рад случаю поговорить с вами об чём бы то ни было.

Я что-то в милости у русской публики.

Как бы то ни было, воспользуюсь своим случаем, говоря ей правду неучитивую, но, быть может, полезную. Я очень знаю меру понятия, вкуса и просвещения этой публики. Есть у нас люди, которые выше её; этих она недостойна чувствовать; другие ей по плечу; этих она любит и почитает.

Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика в светлое воскресенье выпускать на волю птичку? вот вам стихи на это —

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку отпускаю
На светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью:
Зачем на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Могу я волю даровать?

Напечатают ли без имени в «Сыне отечества»?

Наталье Николаевне Гончаровой

8 июня 1834 года, Петербург

Милый мой ангел! я было написал тебе письмо на четырёх страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебе не послал, а пишу другое. У меня решительно сплин. Скучно жить без тебя и не смей даже писать тебе всё, что придёт на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрёно. Об этом успеем ещё поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что ещё хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутком ниже у господ бога. Но ты во всём этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни.

Наталье Николаевне Гончаровой

25 сентября 1835 года, Тригорское

Пишу тебе из Тригорского. Что это, жёнка? вот уж 25-ое, а я всё от тебя не имею ни строчки. Это меня сердит и беспокоит. Куда адресуешь ты свои письма? Пиши во Псков, Её высокоородию Прасковье Александровне Осиповой для доставления А. С. П., известному сочинителю — вот и всё. Так вернее дойдут до меня твои письма, без которых я совершенно одурею. Здорова ли ты, душа моя? и что мои ребятишки? Что дом наш, и как ты им управляешь? Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а всё потому, что не спокоен. В Михайловском нашёл я всё по-старому, кроме того, что нет уж в нём няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; всё кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменялась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. Всё это не беда; одна беда: не замечай ты, мой друг, того, что я слишком замечаю. Что ты делаешь, моя красавица, в моём отсутствии? расскажи, что тебя занимает, куда ты едешь, какие есть новые сплетни etc.

Антону Антоновичу Дельвигу

16 ноября 1823 года, Одесса

Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнью лицейской, слава и благодарение за то тебе и моему Пущину! Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого быка? Душа моя, ты слишком мало пишешь, по крайней мере слишком мало печатаешь. Впрочем, я живу по-азиатски, не читая ваших журналов. На днях попались мне твои прелестные сонеты — прочёл их с жадностью, восхищением и благодарностью за вдохновенное воспоминание дружбы нашей. Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной музе Баратынского. Жду и не дождусь появления в свет ваших стихов; только их получу, заколю агнца, восхваляю господу — и украшу цветами свой шалаш.

Ты просишь «Бахчисарайского фонтана». Он на днях отослан к Вяземскому. Это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожурешь, и всё-таки похвалишь. Пишу теперь

новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя. Бог знает когда и мы прочитаем её вместе — скучно, моя радость! вот припев моей жизни. Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в Одессу! где он, что он? ничего не знаю. Друзья, друзья, пора променять мне почести изгнания на радость свидания. Правда ли, что едет к вам Россини и итальянская опера? — боже мой! это представители рая небесного. Умру с тоски и зависти.

Антону Антоновичу Дельвигу

Середина декабря 1824 года — первая половина декабря 1825 года, Михайловское

«Путешествие по Тавриде» прочёл я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и И. Муравьев-Апостол. Очень жалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для проверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? различие наших впечатлений. Посуди сам.

Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Митридатову Гробницу (развалины какой-то башни), там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на моё воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звёзды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы... «Вот Чатырдаг», сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зелёные колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-Дагода... и кругом это синее, чистое небо и светлое море, и блеск и воздух полуденный... .

В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание моё в Юрзуфе оставило у меня в памяти.

Антону Антоновичу Дельвигу

Начало февраля 1826 года, Михайловское

Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя. Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чём не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.

С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародование заговора. Твёрдо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя.

Петру Андреевичу Вяземскому

Вторая половина ноября 1825 года, Михайловское

Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? чёрт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлечённый восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо — а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Поступок Мура лучше его «Лалла-Рук» (в его поэтическом отношении). Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего.

Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью — на том, что посторонний прочёл бы равнодушно.

Льву Сергеевичу Пушкину

14 марта 1825 года, Тригорское

Перешли же мне проклятую мою рукопись — и давай уничтожать, переписывать и издавать. Как жаль, что тебя со мною не будет! дело бы пошло скорее и лучше — Дельвига жду, хоть он и не поможет. У него твой вкус, да не твой почерк. Элегии мои переписаны — потом послания, потом смесь, потом благословясь и в цензуру.

Анна Николаевна тебе кланяется и очень жалеет, что тебя здесь нет; потому что я влюбился и миртильничаю. Знаешь её кузину Анну Ивановну Вульф; ессе femina!

Мочи нет, хочется Дельвига. Писал я тебе о калошах? не надобно их. Гнедича песни получил. На днях буду писать ему с претензиями. Покамест благодари его — думаю, что экз. «Онегина» ты ему от меня поднёс. Что касается до оных дам, надеюсь, что это шутка. А чего доброго! Однако ж это было бы мне во всяком случае очень неприятно.

Достань у Рылеева или у Бестужева мои мелкие стихотворения и перешли мне скорее.

Льву Сергеевичу Пушкину

27 марта 1825 года, Михайловское

Душа моя, что за прелесть «Бабушкин кот»! я перечёл два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалелеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повёртывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?

Об Вяземском получил известие. Перешли ему, душа моя, всё, что ты имеешь на бумаге и в памяти из моих новых сочинений. Этим очень обяжешь меня и загладишь пакости твоего чтеньебесия.

Получил ли ты мои стихотворенья? Вот в чём должно состоять предисловие: «Многие из сих стихотворений — дрянь и недостойны внимания россейской публики — но как они часто бывали печатаны бог весть кем, чёрт знает под какими заглавиями, с поправками наборщика и с ошибками издателя — так вот они, извольте-с кушать-с».

Всё это должно быть выражено романтически, без буфонства. Напротив. Во всём этом полагаюсь на Плетнёва. Если я скажу, что проза его лучше моей, ведь он не поверит — ну по крайней мере столь же хороша. Доволен ли он? Да перешли на всякий случай это предисловие в Михайловское, а я пришлю вам замечанья свои.

Когда пошлешь стихи мои Вяземскому, напиши ему, чтоб он никому не давал, потому что эдак меня опять обокрадут — у меня нет родительской деревни с соловьями и с медведями. Прощай. Сестру поцелуй.

Петру Александровичу Плетнёву

3 марта 1826 года, Михайловское

Карамзин болен! — милый мой, это хуже многого — ради бога успокой меня, не то мне страшно вдвое будет распечатывать газеты. Гнедич не умрёт прежде совершения «Илиады» — или реку в сердце своём: несть Феб. Ты знаешь, что я пророк. Не будет вам «Бориса», прежде чем не выпишете меня в Петербург — что это в самом деле? стыдное дело. Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и полумедаль, а Пушкину полному — шиш. Так и быть: отказываюсь от фрака, штанов и даже от академического четвертака (что мне следует), по крайней мере пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское. Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге. Вот каково быть верноподданным! забудут и квит. Получили ли мои приятели письма мои дельные, то есть деловые? Что ж не отвечают? — А ты хорош! пишешь мне: переписывай да нанимай писцов опоческих да издавай «Онегина». Мне не до «Онегина». Чёрт возьми «Онегина»! я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите.

Павлу Воиновичу Нащокину

21 июля 1831 года, Царское Село

Бедная моя крестница! вперед не буду крестить у тебя, любезный Павел Воинович; у меня не легка рука. Я всё к тебе собираюсь, да боюсь карантин. Ныне никак нельзя, пускаясь в дорогу, быть уверенным во времени проезда. Вместо трёхдневной езды, того и гляди, что высидишь три недели в карантине; шутка! — Посылаю тебе посылку на имя Чаадаева; он живёт на Дмитровке против церкви. Сделай одолжение, доставь ему. У вас, кажется, всё тихо, о холере не слыхать, бунтов нет, лекарей и полковников не убивают. Недаром царь ставил Москву в пример Петербургу! В Царском Селе также всё тихо; но около такая каша, что боже упаси. Ты пишешь мне о каком-то критическом разговоре, которого я ещё не читал. Если бы ты читал наши журналы, то увидел бы, что всё, что называют у нас критикой, одинаково глупо и смешно. С моей стороны я отступился; возражать серьезно — невозможно; а паясить перед публикою не намерен. Да к тому же ни критики, ни публика не достойны дельных возражений. Нынче осенью займусь литературой, а зимой зарююсь в архивы, куда вход дозволен мне царём. Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики, и Зубков с Павловым явятся ко мне с распростёртыми объятиями. Брат мой переведён в Польскую армию. Им были недовольны за его пьянство и буянство; по это не будет иметь следствия никакого. Ты знаешь, что Вислу мы перешли, не видя неприятеля. С часу на час ожидаем важных известий и из Польши и из Парижа; дело, кажется, обойдётся без европейской войны. Дай-то бог. Прощай, душа: не ленись и будь здоров.

Петру Александровичу Плетнёву

22 июля 1831 года, Царское Село

Письмо твоё от 19-го крепко меня опечалило. Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельви́г умер, Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, умрём и мы. Но жизнь всё еще богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчишки станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.

Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы.

Жаль мне, что ты моих писем не получал. Между ими были дельные; но не беда. Кстати скажу тебе новость (но да останется это, по многим причинам, между нами): царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли?

Когда же мы, брат, увидимся? Ох уж эта холера! Мой Юсупов умер, наш Хвостов умер. Авось смерть удовольствуется сими двумя жертвами. Прощай. Кланяюсь всем твоим. Будьте здоровы. Христос с вами.

Наталье Николаевне Гончаровой

20 августа 1833 года, Торжок

Милая жёнка, вот тебе подробная моя Одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого мосту. Нева так была высока, что мост стоял дыбом; верёвка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Чёрную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел всё это время. Что-то было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? что, если и это я прогулял? досадно было бы. На другой день погода прояснилась. Мы с Соболевским шли пешком 15 вёрст, убивая по дороге змей, которые обрадовались сдуру солнцу и выползали на песок. Вчера прибыли мы благополучно в Торжок, где Соболевский свирепствовал за нечистоту белья. Сегодня проснулись в 8 часов, завтракали славно, а теперь отправляюсь в сторону, в Ярополец — а Соболевского оставляю наедине с швейцарским сыром. Вот, мой ангел, подробный отчёт о моём путешествии. Ямщики закладывают коляску шестернёй, страшая меня грязными, просёлочными дорогами. Коли не утону в луже, подобно Анрепу, буду писать тебе из Яропольца. От тебя буду надеяться письма в Симбирске.

Наталье Николаевне Гончаровой

8 декабря 1831 года, Москва

Здравствуй, жёнка, мой ангел. Не сердись, что третьего дня написал я тебе только три строки; мочи не было, так устал. Собирался я выехать в зимнем дилижансе, но мне объявили, что по причине оттепели должен я отправиться в летнем; взяли с меня лишних 30 рублей и посадили в четвероместную карету вместе с двумя товарищами.

В Валдае принуждены мы были пересесть в зимние экипажи и насилу дотащились до Москвы. Нащокина не нашёл я на старой его квартире; насилу отыскал его у Пречистенских ворот в доме Ильинской (не забудь адреса). Он всё тот же: очень мил и умён; был в выигрыше, но теперь проигрался, в долгах и хлопотах. Твою комиссию исполнил: поцеловал за тебя и потом объявил, что Нащокин дурак, дурак Нащокин. Дом его (помнишь?) отделявается; что за подсвечники, что за сервиз! он заказал фортепьяно, на котором играть можно будет пауку, и судно, на котором испразнится разве шпанская муха. Видел я Вяземских, Мещерских, Дмитриева, Тургенева, Чаадаева, Горчакова, Дениса Давыдова. Все тебе кланяются; очень расспрашивают о тебе, о твоих успехах; я поясняю сплетни, а сплетен много. Дам московских ещё не видал; на балах и в собрание, вероятно, не явлюсь.

Брюллов пишет ли твой портрет? была ли у тебя Хитрова или Фикельмон? Если поедешь на бал, ради бога, кроме кадрилей не пляши ничего; напиши, не притесняют ли тебя люди, и можешь ли ты с ними сладить. Засим целую тебя сердечно. У меня гости.

ВНИМАНИЕ!

Письма, написанные А. С. Пушкиным на французском, нужно прочитать только на языке оригинала. Важно: для конкурсного прочтения необходимо оставить только то, что есть в переводе.

В начале записи своего конкурсного прочтения необходимо озвучить имя адресата, дату письма и место написания.

Пример:

Александр Сергеевич Пушкин пишет Александру Александровичу Бестужеву, конец января 1825 года, Михайловское.

Прасковье Александровне Осиповой

16 сентября 1826 года, Москва

Voici 8 jours que je suis à Moscou sans avoir eu encore le temps de vous écrire, cela vous prouve, Madame, combien je suis affairé. L'Empereur m'a reçu de la manière la plus aimable. Moscou est bruyant et dans les fêtes, à tel point que j'en suis déjà fatigué et que je commence à soupirer après Михайловское, c'est à dire après Trigorsky; je compte partir tout au plus dans deux semaines. — Aujourd'hui, 15 Septembre nous avons la grande fête populaire; il y aura trois verstes de tables dressées au Девичье поле; les pâtés ont été fournis à la сажень comme si c'était du bois; comme il y a quelques semaines que ces pâtés sont cuits, on aura de la peine à les avaler et les digérer, mais le respectable public aura des fontaines de vin pour les humecter; voici la nouvelle du jour. Demain il y a bal chez la C-tesse Orlof; un immense manège a été converti en salle; elle en a emprunté pour 40000 r. de bronze et il y a mille personnes d'invités. On parle beaucoup de nouveaux règlement, très sévères, concernant les duels, et d'un nouveau code de censure; comme je ne l'ai pas vu, je ne puis rien en dire. — Excusez le décousu de ma lettre, elle vous peint tout à fait le décousu de ma vie actuelle. Je suppose que M-lles Annettes sont déjà à Trigorsky. Je les salue de loin et de tout mon coeur, ainsi que toute votre charmante famille. — Agréez, Madame, l'assurance de mon profond respect et de l'attachement inaltérable que je vous ai voué pour la vie.

Перевод. Использовать на французском только оставленные фрагменты!

Вот уже 8 дней, что я в Москве, и не имел ещё времени написать вам, это доказывает вам, сударыня, насколько я занят. Государь принял меня самым любезным образом. Москва шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому, т. е. по Тригорскому; я рассчитываю выехать отсюда самое позднее через две недели. — Сегодня, 15-го сентября, у нас большой народный праздник; версты на три расставлено столов на Девичьем Поле; пироги заготовлены саженьями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть и переварить их, но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот — злоба дня. Завтра бал у графини Орловой; огромный манеж превращён в зал; она взяла напрокат бронзы на 40 000 рублей и пригласила тысячу человек. Много говорят о новых, очень строгих, постановлениях относительно дуэлей и о новом цензурном уставе; но, поскольку я его не видал, ничего не могу сказать о нём. — Простите нескладицу моего письма, — оно в точности отражает вам нескладицу моего теперешнего образа жизни.

Прасковье Александровне Осиповой

Около (но позднее) 10 июня 1827 года, Петербург

Je suis bien coupable envers vous mais pas tant que vous pouvez le penser. Arrivé à Moscou je vous ai tout de suite écrit on adressant mes lettres на Ваше имя в почтамт. Il se trouve que vous ne les avez pas reçues. Cela m'a découragé, et je n'ai plus repris la plume. Puisque vous daignez vous intéresser encore à moi, que vous dirai-je, Madame, de mon séjour à Moscou, et de mon arrivée a Pétersbourg — l'insipidité et la stupidité de nos deux capitales sont égales, quoique diverses, et comme j'ai des prétentions à l'impartialité, je dirai que si l'on m'eût donné à choisir entre les deux, j'aurais choisi Trigorsk — à peu près comme Arlequin, qui sur la question qu'aimerait-il mieux: d'être roué ou pendu? répondit: j'aime mieux une soupe au lait. — Je suis ici sur mon départ et je compte absolument venir passer quelques jours à Михайловское: je salue en attendant de tout mon coeur vous et tout ce qui tient à vous.

Перевод

Я очень виноват перед вами, но не настолько, как вам может это казаться. Приехав в Москву, я тотчас написал вам, адресуя мои письма (на ваше имя в почтамт). Оказывается, вы их не получили. Это меня обескуражило, и я не брал больше пера в руки. Так как вы изволите ещё мною интересоваться, что же мне вам сказать, сударыня, о пребывании моём в Москве и о моём приезде в Петербург — пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я притязаю на беспристрастие, то скажу, что, если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское, — почти как Арлекин, который на вопрос, что он предпочитает: быть колесованным или повешенным? — ответил: я предпочитаю молочный суп. — Я уже накануне отъезда и непременно рассчитываю провести несколько дней в Михайловском; покамест же от всего сердца приветствую вас и всех ваших.

Александру Христофоровичу Бенкендорфу

10 ноября 1829 года, Петербург

Mon Général,

C'est avec la plus profonde douleur que je viens d'apprendre que Sa Majesté était mécontente de mon voyage à Arzroum. La bonté indulgente et libérale de Votre Excellence et l'intérêt qu'elle a toujours daigné me témoigner, m'inspirent la confiance d'y recourir encore et de m'expliquer avec franchise.

Arrivé au Caucase, je ne pus résister au désir de voir mon frère qui sert dans le régiment des dragons de Nijni-novgorod et dont j'étais séparé depuis 5 ans. Je crus avoir le droit d'aller à Tiflis. Arrivé là, je ne trouvai plus l'armée. J'écrivis à Николай Раевский, un ami d'enfance, afin qu'il obtint pour moi la permission de venir au camp. J'y arrivai le jour du passage de Saganlou. Une fois là, il me parut embarrassant d'éviter de prendre part aux affaires qui devaient avoir lieu et c'est ainsi que j'assistai à la campagne moitié soldat, moitié voyageur.

Je sens combien ma position a été fausse et ma conduite étourdie; mais au moins n'y a-t-il que de l'étourderie. L'idée qu'on pourrait l'attribuer à tout autre motif me serait insupportable. J'aimerais mieux éprouver la disgrâce la plus sévère que de passer pour ingrat aux yeux de celui auquel je dois tout, auquel je suis prêt à sacrifier mon existence, et ceci n'est pas une phrase.

Je supplie Votre excellence d'être en cette occasion ma providence et suis avec la plus haute considération.

Перевод

Генерал,

С глубочайшим прискорбием я только что узнал, что Его Величество недоволен моим путешествием в Арзрум. Снисходительная и просвещённая доброта Вашего превосходительства и участие, которое вы всегда изволили мне оказывать, внушает мне смелость вновь обратиться к вам и объясниться откровенно.

По прибытии на Кавказ я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучён в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на проезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника.

Я понимаю теперь, насколько положение моё было ложно, а поведение опрометчиво; но, по крайней мере, здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения. Я бы предпочёл подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова.

Наталье Николаевне Гончаровой

9 сентября 1830 года, Болдино

Ma bien chère, ma bien aimable Наталья Николаевна — je suis à vos genoux pour vous remercier et vous demander pardon de l'inquiétude que je vous ai causée.

Votre lettre est charmante et m'a tout à fait rassuré. Mon séjour ici peut se prolonger par une circonstance tout à fait imprévue: je croyais que la terre que m'a donnée mon père était un bien à part, mais elle se trouve faire partie d'un village de 500 paysans, et il faudra procéder au partage. Je tâcherai d'arranger tout cela le plus vite possible. Je crains encore plus les quarantaines qu'on commence à établir ici. Nous avons dans nos environs la choléra morbus (une très jolie personne). Et elle pourra m'arrêter une vingtaine de jours de plus. Que de raisons pour me dépêcher! Mes respectueux hommages à Наталья Ивановна, je lui baise les mains bien humblement et bien tendrement. Je vais écrire à l'instant à Афанасий Николаевич. Celui-ci, avec votre permission, est bien impatientant. Remerciez bien M-lles Cathérine et Alexandrine pour leur aimable souvenir et encore une fois pardonnez-moi et croyez je ne suis heureux que là où vous êtes.

Перевод

Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы поблагодарить вас и просить прощения за причинённое вам беспокойство.

Ваше письмо прелестно, оно вполне меня успокоило. Моё пребывание здесь может затянуться вследствие одного совершенно непредвиденного обстоятельства. Я думал, что земля, которую отец дал мне, составляет отдельное имение, но, оказывается, это — часть деревни из 500 душ, и нужно будет произвести раздел. Я постараюсь это устроить возможно скорее. Ещё более опасаясь я карантин, которые начинают здесь устанавливаться. У нас в окрестностях — Cholera morbus (очень миленькая особа). И она может задержать меня ещё дней на двадцать! Вот сколько для меня причин торопиться! Почтительный поклон Наталье Ивановне, очень покорно и очень нежно целую ей ручки. Сейчас же напишу Афанасию Николаевичу. Он, с вашего позволения, может вывести из терпения. Очень поблагодарите м-ль Катрин и Александрин за их любезную память; ещё раз простите меня и верьте, что я счастлив, только будучи с вами вместе.

Петру Яковлевичу Чаадаеву
6 июля 1831 года, Царское Село

Mon ami, je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la nôtre et nous continuerons nos conversations commences jadis à Sarsko-Sélo et si souvent interrompues.

Vous savez ce qui nous arrive; à Pétersbourg le peuple s'est imaginé qu'on l'empoisonnait. Les gazettes s'épuisent en semonces et en protestations, malheureusement le peuple ne sait pas lire, et les scènes de sang sont prêtes à se renouveler. Nous sommes cernés à Sarsko-Sélo et à Pavlovsky et nous n'avons aucune communication avec Pétersbourg. Voilà pourquoi je n'ai vu ni Bloudof, ni Bellizard. Votre manuscrit est toujours chez moi; voulez-vous que je vous le renvoie? mais qu'en ferez-vous à Necropolis? laissez-le moi encore quelque temps. Je viens de le relire. Il me semble que le commencement est trop lié à des conversations antécédentes, à des idées antérieurement développées, bien claires et bien positives pour vous, mais dont le lecteur n'est pas au fait. Les premières pages sont donc obscures et je crois que vous feriez bien d'y substituer une simple note, ou bien d'en faire un extrait. J'étais prêt à vous faire remarquer aussi le manque d'ordre et de méthode de tout le morceau, mais j'ai fait réflexion que c'est une lettre, et que le genre excuse et autorise cette négligence et ce laisser-aller. Tout ce que vous dites de Moïse, de Rome, d'Aristote, de l'idée du vrai Dieu, de l'Art antique, du protestantisme est admirable de force, de vérité ou d'éloquence. Tout ce qui est portrait et tableau est large, éclatant, grandiose. Votre manière de concevoir l'histoire m'étant tout à fait nouvelle, je ne puis toujours être de votre avis; par exemple je ne conçois pas votre aversion pour Marc-Aurèle, ni votre prédilection pour David (dont j'admire les psaumes, si toutefois ils sont de lui). Je ne vois pas pourquoi la peinture forte et naïve du polythéisme vous indignerait dans Homère. Outre son mérite poétique, c'est encore, d'après votre propre aveu, un grand monument historique. Ce que l'Illiade offre de sanguinaire, ne se retrouve-t-il pas dans la Bible? Vous voyez l'unité chrétienne dans le catholicisme, c'est à dire dans le pape. — N'est-elle pas dans l'idée du Christ, qui se retrouve aussi dans le protestantisme. L'idée première fut monarchique; elle devint républicaine. Je m'exprime mal, mais vous me comprenez.

Ecrivez-moi, mon ami, dussiez-vous me gronder. Il vaut mieux, dit l'Ecclésiaste, entendre la correction de l'homme sage que les chansons de l'insensé.

Перевод

Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые в своё время в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся.

Вам известно, что у нас происходит: в Петербурге народ вообразил, что его отравляют. Газеты изощряются в увещаниях и торжественных заверениях, но, к сожалению, народ неграмотен, и кровавые сцены готовы возобновиться. Мы оцеплены в Царском Селе и в Павловске и не имеем никакого сообщения с Петербургом.

Ваша рукопись всё ещё у меня; вы хотите, чтобы я вам её вернул? Я только что перечёл её. Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлён. Вследствие этого мало понятны первые страницы, и я думаю, что вы бы хорошо сделали, заменив их простым вступлением или же сделав из них извлечение.

Всё, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, об идее истинного бога, о древнем искусстве, о протестантизме, изумительно по силе, истинности или красноречию. Всё, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно. Ваше понимание истории для меня совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами: например, для меня непостижимы ваша неприязнь к Марку Аврелию и пристрастие к Давиду (псалмами которого, если только они действительно

принадлежат ему, я восхищаюсь). Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию, великий исторический памятник.

Пишите мне, друг мой, даже если бы вам пришлось бранить меня. Лучше, говорит Экклезиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца.

Льву Сергеевичу Пушкину

Сентябрь — октябрь 1822 года, Кишинёв

Vous êtes dans l'âge ou l'on doit songer à la carrière que l'on doit parcourir; je vous ai dit les raisons pourquoi l'état militaire me paraît préférable à tous les autres. En tout cas votre conduite va décider pour longtemps de votre réputation et peut-être de votre bonheur.

Vous aurez affaire aux hommes que vous ne connaissez pas encore. Commencez toujours par en penser tout le mal imaginable: vous n'en rabattrez pas de beaucoup. — Ne les jugez pas par votre cœur, que je crois noble et bon et qui de plus est encore jeune; méprisez les le plus poliment qu'il vous sera possible: c'est le moyen de se tenir en garde contre les petits préjugés et les petites passions qui vont vous froisser à votre entrée dans le monde.

Soyez froid avec tout le monde: la familiarité nuit toujours; mais surtout gardez-vous de vous y abandonner avec vos supérieurs, quelles que soient leurs avances. Ceux-ci vous dépassent bien vite et sont bien aises de vous avilir au moment où l'on s'y attend le moins.

Point de petits soins, défiez vous de la bienveillance dont vous pouvez être susceptible: les hommes ne la comprennent pas et la prennent volontiers pour de la bassesse, toujours charmés de juger des autres par eux-mêmes.

N'acceptez jamais de bienfaits. Un bienfait pour la plupart du temps est une perfidie. — Point de protection, car elle asservit et dégrade.

J'aurais voulu vous prémunir contre les séductions de l'amitié, mais je n'ai pas le courage de vous endurcir l'âme dans l'âge de ses plus douces illusions. Ce que j'ai à vous dire à l'égard des femmes serait parfaitement inutile. Je vous observerai seulement, que moins on aime une femme et plus on est sûr de l'avoir. Mais cette jouissance est digne d'un vieux sapajou du 18^e siècle. A l'égard de celle que vous aimerez, je souhaite de tout mon cœur que vous l'ayez.

N'oubliez jamais l'offense volontaire; peu ou point de paroles et ne vengez jamais l'injure par l'injure.

Si l'état de votre fortune ou bien les circonstances ne vous permettent pas de briller, ne tâchez pas de pallier vos privations, affectez plutôt l'excès contraire: le cynisme dans son âpreté en impose à la frivolité de l'opinion, au lieu que les petites friponneries de la vanité nous rendent ridicules et méprisables.

N'empruntez jamais, souffrez plutôt la misère; croyez qu'elle n'est pas aussi terrible qu'on se la peint et surtout que la certitude ou l'on peut se voir d'être malhonnête ou d'être pris pour tel.

Les principes que je vous propose, je les dois à une douloureuse expérience. Puissiez-vous les adopter sans jamais y être contraint. Ils peuvent vous sauver des Jours d'angoisse et de rage. Un jour vous entendrez ma confession; elle pourra coûter à ma vanité; mais ce n'est pas ce qui m'arrêterait lorsqu'il s'agit de l'intérêt de votre vie.

Перевод

Ты в том возрасте, когда следует подумать о выборе карьеры; я уже изложил тебе причины, по которым военная служба кажется мне предпочтительнее всякой другой. Во всяком случае твоё поведение надолго определит твою репутацию и, быть может, твоё благополучие.

Тебе придётся иметь дело с людьми, которых ты ещё не знаешь. С самого начала думай о них всё самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно

ошибёшься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, ещё молодо; презирай их самым вежливым образом: это — средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоём в свет.

Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит; особенно же остерегайся допускать её в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой.

Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий.

Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым.

Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден.

Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства.